

*Смагул Елубай, автор трагически-мужественной книги о голодоморе «Одинокая юрта», ставшей знаковым произведением казахской литературы, удостоен звания лауреата по литературе турецкого мира 2022 года в культурной столице Турции Бурсе. Писатель, кинодраматург, общественный деятель, вице-президент Международного казахского ПЕН-клуба Смагул Елубай – автор сборников рассказов «Ойсул-Кара» и «Трона Саттара», книг повестей «Белый свет» и «Свет керосиновой лампы», а также сценария к фильму «Суржекей – ангел смерти» и книги-предупреждения «Век страшного суда». Роман «Одинокая юрта» стараниями казахского ПЕН-клуба вышел на английском языке.*

В начале этого года в рамках празднования 75-летия Смагула Елубая в Алматы состоялся предпоказ фильма «Одинокая юрта», сценарий которого написал сам автор романа, а режиссером-постановщиком стал его сын Бегарс Елубай. Отечественная премьера фильма прошла в Астане в марте, Кайрат Кемалов, исполнивший роль главного героя Пахраддина, получил приз за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Турции.

В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий и голода фильм «Одинокая юрта» увидела многомиллионная телевизионная аудитория: 28 мая он вышел на телеканале «Казахстан», 29 мая его показали «Хабар» и «Ел Арна». На русском и английском языках фильм вышел на YouTube.

По сообщениям информагентств, в 1929–1933 годах в Казахстане погибло около 2 миллионов человек и еще около 1 миллиона были вынуждены покинуть страну.

Последовавшие за этим политические репрессии привели к массовой гибели элиты казахского общества. По политическим мотивам были осуждены 103 тысячи человек, из них 25 тысяч человек приговорены к расстрелу.

На территории Казахстана было создано 11 лагерей, где в жестоких условиях находились репрессированные и члены их семей.

Репрессиям были подвергнуты не только казахи, но 1,5 миллиона представителей других этносов, насильно депортированных в Казахстан. Сострадание и помощь казахского народа помогли им выжить и обрести надежду.

Фильм и роман Смагула Елубая «Одинокая юрта», который вместе с эссе Адольфа Арцишевского мы предлагаем вниманию читателей «Простора», напоминают нам об этом.



## «КОЛОДЦЫ ПАМЯТИ» СМАГУЛА ЕЛУБАЯ

Пёс был приبلудный. Крупный беспородный пёс, похожий на кавказскую овчарку рыжевато-серой масти. Он пришёл к юрте в первый же день, под вечер, высунув язык от жажды. Напился из речки. Постоял над водой, глядя, как вскипают по-над галечником мелкие буруны. Потом посмотрел на Смагула, сдержанно шевельнул хвостом. И лёг рядом с юртой, положив лобастую голову на передние лапы.

Смагул нехотя расстался со своей общей тетрадью, дал псу кусок хлеба. Пёс деликатно съел еду, снова положил голову на лапы. И задремал.

За весь день Смагул не написал ни слова. С утра, когда за спиной из-за горы выкатилось солнце, на костерке вскипел ещё незакопчённый, сияющий матовой белизной дюралевый чайник. Смагул щедро сыпанул в него заварки, неспешно выпил пару пиалушек чая, пахнущего привольным дымом костра. С минуту подождал, пока чай проникнет в самые заветные закоулки организма, даруя мысли яростную ясность, а всему телу умиротворённость и покой. Потом раскрыл тетрадь на первой, ещё незапятнанно чистой странице, и ушёл памятью в детство, в родной аул, которого давно уж нет в помине.

Ему виделась школа в туркменских песках у колодца, и то, как они играли в асыки под полуденным солнцем. Пекло неимоверно, градусов под 50, а им всё нипочём. Матери, бывало, пацанам головы айраном густым намажут, и ультрафиолет не страшен. Смагул и здесь, в предгорьях Заилийского Алатау, весь день сидел у юрты под солнцем с непокрытой головой, и это лишь усиливало неотразимость и боль воспоминаний. Он был убеждён: если возможен рай на земле, то находился он там, в тех песках детства, где они играли в асыки. Ночами всплывала на небо луна, принося прохладу и умиротворение, звёзды были невиданной красоты, под ними покоилась земля. Там, в Каракумах, она казалась первозданной, и дивная природа, как в дни творения, сияла под луной. Для мальчика, для неискушённой детской души то было и осталось потрясением на всю последующую жизнь.

Но в той неземной красоте жили его несчастные, бедные сородичи, которые по воле голощёкиных и прочих нелюдей лишены были родины, с корнями вырваны из привычного уклада жизни, обречены злым лихолетьем на голод и скитания. Чтобы сохранить живую душу, их аул оставил могилы предков, снялся с исконных,



самим Аллахом дарованных мест, ушёл в беспредельность Устюрта, и дальше – в пески Приаралья, чтобы потом затеряться в зыбучих барханах Каракумов. Аул-скиталец, аул-призрак.

От голода человек теряет разум. В степи имело место людоедство. Женщины сами себе отрезали грудь или часть бедра, чтобы накормить ребёнка. Нет-нет, в его романе места натурализму быть не может, но с последствиями бесчеловечных усилий противостоять голоду читатель должен столкнуться лицом к лицу. Он должен увидеть всю бездну унижений, на которые голод толкает людей. Хансулу, живое воплощение доброты, любви и нежности, бродит по аулам Каракалпакии, прося милостыню. Едиге, будущий писатель, который глазами автора, его сердцем постигает несправедность мира, мальчишкой тоже идёт с протянутой рукой. Пахрадин, само воплощённое благородство, погибая от голода, встаёт на четвереньки, начинает есть траву...

Удивительным образом аулу этому в течение десятилетий удавалось ускользать от разрушительных ветров эпохи, от советской власти, от губительных для души кочевников перемен. Ценой невероятных лишений аул на десятилетия как бы законсервировал в своих зыбких пределах быт, мораль, язык, свою кочевую культуру. Если бы детство моё не прошло именно в таком ауле, думал Смагул, я не имел бы права писать книгу о той великой всенародной беде, о голоде 30-х годов, что уничтожил миллионы жизней.

## АУЛ-СКИТАЛЕЦ

– Да, ничего случайного в жизни не бывает, – рассказывал мне о своем восхождении к роману Смагул Елубай. – Мои родители и наш аул были из тех казахов (а их миллионы!), которые пережили страшные годы коллективизации с последующим голодомором. Они находились непосредственно там, в этой мясорубке. Они бежали от голода из Западного Казахстана, от реки Эмба в Каракалпакию. Они проделали через пустынные пески и степи многомесячный путь, ведомые неистребимым инстинктом жизни, стремлением выжить во что бы то ни стало. Ещё советские историки вопреки всем запретам писали, что в те годы около 40 тысяч казахских семей откочевали со своих исконных земель в одном лишь Байганинском районе близ Актюбинска. Родители говорили, что наша степь была населена так густо, что люди чуть ли не дрались из-за воды и пастбищ. Сейчас эта степь пустует. Она в распоряжении сайгаков.

Но и в Каракалпакии спасения не было от большевистского геноцида. Каракалпакия тогда входила в состав Казахстана, а Казахстан входил в Российскую Федерацию, был неотъемлемой частью советской империи, и волчьи законы тоталитаризма действовали в Казахстане в полной мере. Станным образом, но голодомор не коснулся в такой степени ни Киргизии, ни Туркмении, ни Узбекистана. Дело в том, что казахи до 1928 года оставались кочевниками, скотоводами, здесь были другие нормативы жизни. Даже захудалый кочевник должен был иметь отару в 50 овец и табунок лошадей. А при поголовной коллективизации вопрос был поставлен так: если у тебя несколько баранов, две-три коровы и лошадь – ты уже кулак, бай. И твой скот подлежал изъятию. Исходя из этого бесчеловечного закона, нас, казахов, раскулачивали, судили, терзали, обрекая на голодную смерть. И разразился голод такого масштаба, какого история на-

шего народа не знала. Да, случались джуты, они были большой бедой, даже трагедией, но имели локальный характер. А здесь, что говорится, от моря до моря, от Каспия до Арала и далее – везде. Голод общенациональный – такого не было никогда.

В результате около миллиона казахов покинули родину, перешли её границу, бежали в Китай, Иран, Афганистан и, как ни странно, в Россию. Они рассеялись по всему миру, и до сих пор мы не можем их собрать. Треть нации – там, на чужбине. Используя терминологию «чудесного грузина», как назвал Сталина вождь всемирного пролетариата, то был побочный результат допущенных «перегибов». Там логика была простая: лес рубят – щепки летят. В «щепки» определили целый народ.

В таком вот беглом, откочёвывающим от гибели ауле я и родился на границе Туркмении и Каракалпакии в 1947 году. Родители говорят, что едва я родился, они откочевали вглубь Туркмении. Жили мы в песках, в пустыне, за много километров от ближайшего населённого пункта, и это были, наверное, самые счастливые годы моей жизни. Тут ничего не поделаешь, так уж устроена наша память: вопреки всем несчастьям и бедам, детские годы наполнены светом и радостью.

А взрослые прятались в безмерной пустыне от советской власти, от непонятной им войны. Их как бы не было на свете, они нигде не были зарегистрированы, нигде не состояли на учёте и не имели паспортов. Лишь после смерти Сталина, в 1954 году, жители нашего аула обрели паспорта.

Как выживали? Ну, голь на выдумку хитра. В безлюдных песках заготавливали саксаул, на верблюдах везли его людям. Топливо было в дефиците, саксаул был ходовым товаром, его брали охотно. Так что были мои сородичи при маломальских деньгах, а значит, раздобывали и продукты, и одежду, и всё самое необходимое. Так и жили.

Мне было лет пять, когда наш аул оказался на границе с Афганистаном, готовый туда откочевать. Но тут нас как-то ненавязчиво и безболезненно настигли колхозы. И аульчане стали колхозниками-скотоводами, по умолчанию оставаясь кочевниками. Пик коллективизации остался давно позади, да и Туркмения была от Москвы далековато, так что теперь всё произошло без перегибов.

Не могу забыть, как в 1955 году в зыбучих песках у колодца возвели глинобитную школу для детей из окрестных аулов. Учитель был казах, но учил детей на туркменском языке, причём ребятишек собрали всех подряд – от семи лет и выше, чтобы всех разом научить грамоте и прочей школьной премудрости. Если б вы знали, как нам хотелось учиться! Мы с нетерпением ждали первого сентября, мы на песке чертили буквы на кириллице и арабские цифры. Мы раздобыли книгу и пытались по слогам читать. Ребёнок даже в бесчеловечных условиях скитаний остаётся ребёнком, и жажда знаний в нём неистребима.

Над колодцем висело кожаное ведро, к нему через кольцо тянулась веревка – одним концом она была приторочена к верблюду. И тот почти целый день неспешно вышагивал: шагов десять к колодцу, потом, когда ведро с перезвоном зачерпнёт в прохладной глубине бесценную воду, верблюд всё так же величаво шёл прочь от колодца на десять шагов. Чтобы заполнить бетонное корыто для водопоя скоту, надо было поднять из глубины не меньше сотни вёдер. И я восхищался верблюдом, который делал эту работу изо дня в день, не теряя достоинства и не сбиваясь с величавой поступи.

Десятилетия спустя я побывал в тех местах, не в силах противостоять ностальгии и желая уточнить кое-какие детали. Все так же нещадно палило солнце, гряда молчаливых барханов безмолвно уходила за горизонт. Колодец был заброшен, верблюд, очевидно, завершил свой, ему предназначенный жизненный путь, на месте школы не было даже руин – так, небольшие глиняные всхолмия. Осталась память, она долговечнее цементных срубов и глинобитных стен, осталась зарубка на сердце. Да несколько глав в моей книге, может быть самых щемящих и светлых. Почерпнутых из неподвластной времени сумеречной глубины колодцев памяти.

## ПО СЛЕДАМ ОБЩЕЙ ПАМЯТИ

В той школе в песках у колодца я проучился четыре года. Потом – интернат в райцентре. Разлука с родителями была нестерпимой, два года в интернате мне показались каторгой. Благодарение Аллаху, родители поняли это, и на семейном совете решили двигаться поближе к родине. Так уже в 1961 году мы оказались близ Алматы. Здесь, в столице, была одна-единственная казахская школа. Естественно, я стал в ней учиться. Ну, а в 1966 году – КазГУ, журфак. Так волны скитаний вынесли нас наконец-то к родному берегу. И началось долгое и трудное возвращение к здравому смыслу. Нам ещё предстояло пережить отупляющее безвременье брежневского застоя.

В 1982 году я оставил работу на «Казахфильме» и, обретя статус свободного художника, решил пройти весь путь горестной кочёвки моего аула. Путь этой кочёвки начался с того места, где покоится прах моего деда Елубая – это Байганинский район Западно-Казахстанской области. Мне помогло районное начальство с транспортом, и я через Устюрт проехал до Каракалпакии. Знаете ли вы, что в Каракалпакии сегодня живёт полмиллиона казахов? Причём это казахи в основном из-под Актюбинска. Здесь очень много моих родственников – и со стороны матери, и со стороны отца. Это все те, кто бежал в 30-е годы от голода. Я слушал их рассказы, вникал во все перипетии судеб. Рассказы неспешные, подробные, на давнее горе можно было посмотреть как бы со стороны, хотя по лицам я видел, что лихолетье до сих пор, как огонь негасимый, жжёт людям память.

Потом я переехал в Туркмению, и там находил стариков, прошедших эту адскую дорогу. У каждого был свой рассказ, своя история. У каждого была всё та же неизбывная боль.

В Байганинском районе я побывал несколько раз, встречался с очевидцами. Вникал во всю подноготную тех самых «перегибов», во все детали того незабываемого кочевья. Собственно, роман и построен на основании этих рассказов. Очевидцы помогали мне восстановить истинную картину тех лет, истинную политику той власти, которая учинила все беды.

Стал изучать архивы, читать книги по истории тех лет, ища достоверные факты. К сожалению, фактов не было. Было враньё. Наверное, многие документы изымались. История 20–30-х годов – история путанная. Писать роман на эту тему и добраться до истины было очень сложно. Советская печать о том времени твердила одно, очевидцы говорили совсем другое. Тут была явная несостыковка. Где истина?

Но ищущий всегда найдёт. Быть может, и не то, что ищет, но к истине приблизится наверняка.

Так я и начал писать роман. Но когда я сообщил своим многоопытным старшим товарищам, что пишу книгу о голоде 30-х годов, о котором никто ещё не писал, я получил от них ответ, меня совсем не вдохновивший, хотя вполне закономерный. Роман этот ты не напечатаешь никогда, сказали они. Во всяком случае, пока существует советская власть, а она (я был в этом тоже убеждён) утвердилась навечно, она как Кощей Бессмертный. Так что уже при рождении своём, сказали мне, твой роман обречён на гибель...

## КОГДА УМОЛКНУТ АРУАХИ

Десятилетия спустя, когда трилогия будет не только написана, но и напечатана, Смагул нет-нет, а и подумает: как же он уцелел сам, пропустив всё это через собственную душу? А потому и уцелел, что выплеснул всё это на бумагу, в те общие толстенные тетради. В него вселился дух погибших. Он явственно слышал их голоса – детей, стариков, женщин. Это аруахи непохороненных людей, их миллионы. Голоса не давали покоя. Лишь зафиксировав их на бумаге, можно было спастись от наваждения. Если бы не он, они другого бы нашли. Он понял тогда: пока мы, оставшиеся в живых, не воздадим должное памяти невинно загубленных, нам не будет покоя.

Как, почему в свои девятнадцать лет, едва став студентом-первокурсником журфака, он в запредельной отваге задумал написать роман о всенародном горе? Да, он понимал, ему не хватает литературной оснастки, ему не хватает той зрелости сердца, что дала бы возможность одолеть сверхнагрузки страстей, изуродованных судеб и бескрайней беды. Но жизнь его с той минуты была подчинена единственной цели: как можно быстрее обрести всё, что нужно, дабы он мог, не ведая сомнений, уйти в пучину страданий, выпавших на долю наших отцов и матерей. И не погибнуть самому при этом. Он думал о Данте: тот прошёл девять кругов ада, и даже после этого в нём остались ещё силы, чтобы побывать в чистилище, чтобы измученным, но не ожесточившимся сердцем соприкоснуться с подножием Божьего престола, которое мы называем раем. Наверное, он, Смагул, никогда не решился бы на это. Но – то был голос свыше, то был глас нашего Творца, он повелевал ему. Как там у Пушкина: «восстань, пророк, и виждь и внемли»... Потом, много лет спустя, он поймёт, что истинное произведение – если оно действительно истинное – создаётся так и только так. Вот ведь уже прошло шесть лет, как трилогия издана, а он, Смагул, практически не написал с тех пор ни слова. Душа молчит. Она, покорствуя судьбе, живёт в миру среди простых смертных, она живёт в мире сама с собой. Голоса аруахов уже не раздаются в ней. А главное – нет свыше голоса, нет воли Творца. Нет приказа. Нет повеления. Пока нет. Смагул знает: лишь появится повеление, он будет писать – вопреки всему на свете. Даже за решёткой. Не писать он не сможет.

Заключительную часть трилогии он написал, когда работал на радио «Свобода». Их было в одном кабинете семь человек, и Смагул среди них. Гул в комнатухе от голосов стоял невероятный, а он работал над книгой, никого не видя и не слыша. Работал в центре Европы, в Праге, вдали от родимой земли, но работал,

как одержимый. Как только рука освобождалась от текучки, мозг тут же диктовал ей строки из романа. И пальцы стремительно бегали по клавиатуре компьютера – те общие тетради, с которых всё и начиналось, остались в прошлом. И сам он – тот, каким был когда-то в юрте, что стояла в Аксайском ущелье, стал совсем другим. Теперь он видел мир во всей его бескрайности, и политика была для него не пустым звуком, как некогда. Она как напряжённый поток энергетики несла его сквозь время, обогащая душу и мироздание новыми смыслами. Если раньше лишь знание русского языка размыкало для него зыбкие рамки аула, то теперь английский позволял единым взглядом охватывать всю планету в её противоборствах с бесчисленными волями людей. И отключиться от этого всемирного информационного поля тебе уже не дано. Вернувшись в Казахстан, Смагул не сможет стоять в стороне от всего сущего, он ринется в борьбу – за казахскую ментальность, за сохранение родного языка...

## ОТ ПЕРВОЙ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ФРАЗЫ

Тогда, в тот первый день у юрты, погрузившись весь без остатка в прошлое, он так и просидит до вечера, не запятив первую страницу тетради ни словом. Рядом с ним будет лежать доверчивый большой лобастый пёс, а перед ним огромной чашей раскинется долина в полях, садах и поселениях. Вечернее солнце окрасит небо в такие фантастические краски, что глазам станет больно и от переизбытка красоты защемит сердце. Он будет смотреть в эту тишайшую, безмолвную бескрайность, наблюдая, как густеют вечерние сумерки, неясными, расплывчатыми становятся контуры редких кустарников, а ширь перед его глазами, всё больше натягивая на себя чёрное покрывало, тихо отходит ко сну. Он будет смотреть в этот дремлющий покой, объяввший округу, и ещё не осознает в тот миг, что в сущности всё это – первые фразы его книги. Он запишет их наутро. А первые фразы – они как некий камертон, как некий ключ к последующему тексту. Всё лето будут полниться страницы его общей тетради, и пёс будет рядом. Он будет охранять его юрту в те редкие дни и часы, когда ему придётся отлучаться за провизией.

А к осени собака исчезнет, уйдёт. Навсегда.

Но к тому времени станет ясно, что книга заладилась, она будет написана. Да, ей уготована тяжёлая судьба, Смагул в отчаянии переживёт серию микроинфарктов, переживёт он и клиническую смерть. И останется жить. В отличие от Едиге, героя романа, тоже писателя, глазами и сердцем которого читатель ощутит написанное. Но Едиге, в отличие от автора, не выйдет из клинической смерти. Ему суждено стрелой лететь по бесконечному и тёмному тоннелю, в конце которого ослепительный свет, а душой овладевает мучительное в своей беспредельности желание ещё быстрее лететь к тому сиянию, чтобы навеки слиться с ним.

И это будут последние строки трилогии.

Трилогии, о которой Мурат Ауэзов, анализируя исторический роман 80-х годов, напишет в статье «Хождение к колодцам времен»:

«Особое место в современной казахской литературе, безусловно, занимает произведение С. Елубаева “Ак боз уй”... Закономерно, что именно в этом правдивом, суровом повествовании, где события времен коллективизации увидены

глазами тех, кто от нее пострадал, убедительно показаны попытки предотвратить катастрофу и ликвидировать её последствия.

С. Елубаев снимает анонимность, долго сохранявшуюся обезличенность жертв той поры и исполняет тем самым прямой долг художественной памяти – раскрывает социально-историческое событие как слагаемое конкретных человеческих судеб. Его Пахраддин и Сырга, не сумевшие физически выжить в выпавших на их долю страданиях, но сохранившие великую красоту человеческого достоинства, не только восполняют один из самых сумеречных провалов нашей памяти, но и начинают собой новую традицию в трактовке образов прошлого и современности.

С. Елубаев известен не только рассказами и повестями, но и как кинодраматург. Опыт написания сценариев накладывает отпечаток на его прозу: в ней мало описательности и много действия, монолог практически отсутствует, диалоги активно работают на сюжет, динамичный, нацеленно идущий к “ударным” сценам, таким, например, как откровенно кинематографический эпизод в песках с миражами и предсмертными видениями Пахраддина.

Интонация повести соответствует “динамическому равновесию” Курта Ваннегута, призывавшего “...сочетать гуманность и правду. Умную гуманность, не подкрашивающую истину во избежание безотрадных выводов. И полную правду, быть может, очень горькую, но не подавляющую убеждения, что в мире неизбежно сохраняется человечность и добро”».

